

Не все ритуалы происходят как торжественные церемонии, не все ритуалы ограничены четкими рамками, бывают и такие, что совершаются среди серых будней и отличаются от них только той весомостью и эмоциональным зарядом, который внезапно принимает обыденная жизнь. Выйдя в то утро из дома и следуя за Ингве к машине, я вдруг ощутил, что вступаю в историю более величественную, чем моя собственная. «Сыновья, отправляющиеся в отчий дом хоронить своего отца» — вот название той истории, в которую я вступил в качестве персонажа, остановившись перед машиной со стороны переднего пассажирского сиденья и ожидая, пока Ингве откроет багажник, чтобы положить в него сумку, а Ильва, Кари Анна и Турье провожали нас, стоя на крыльце. Небо было серовато-белое и ласковое, в квартале царил тишина. Багажник захлопнулся, и этот щелчок, отразившись эхом от стены противоположного дома, прозвучал с почти вызывающей резкостью и отчетливостью. Ингве открыл дверцу и сел; перегнувшись всем телом, он открыл дверцу с моей стороны. Помахав рукой Кари Анне и детям, я залез на сиденье и захлопнул дверцу. Они помахали в ответ. Ингве завел мотор, оперся вытянутой рукой о спинку моего сиденья и выехал направо. Затем и он помахал, и мы тронулись вперед по дороге. Я откинулся на спинку.

— Ты устал? — сказал Ингве. — Если хочешь, можешь поспать.

— Точно?

— Конечно. Я только включу музыку, если можно.

Я кивнул и закрыл глаза. Услышал, как его рука нажала на кнопку магнитолы, затем порылась в бардачке в поисках диска. Негромкое гудение мотора. Затем мандолинное вступление в духе фолка.

— Что это? — спросил я.

— *16 Horsepower*, — ответил он. — Тебе нравится?

— Приятная музыка, — сказал я и снова закрыл глаза.

Чувство величественной истории исчезло. Мы уже были не «сыновья, отправляющиеся хоронить отца», а Ингве и Карл Уве,

и ехали не в отчий дом, а в Кристиансанн, хоронить не отца, а папу.

Поскольку я не устал, то и не заснул, но сидеть вот так было приятно, главным образом потому, что от меня ничего не требовалось. В детстве я мог сказать Ингве все, что в голову взбредет, у меня не было от него секретов, но в какой-то момент, может быть, еще когда я учился в гимназии, все изменилось: с тех пор я, разговаривая с ним, очень остро сознавал, кто он и кто я, непринужденность куда-то ушла, я либо продумывал каждую мою реплику заранее, либо анализировал задним числом, а чаще — и то и другое, и только когда выпивал, ко мне возвращалась былая свобода. Так у меня стало теперь со всеми людьми, за исключением Тоньи и мамы: я разучился разговаривать попросту, — потому что слишком пристально отслеживал ситуацию, и это превращало меня в стороннего наблюдателя. Я не знал, испытывал ли Ингве что-то похожее, думаю, вряд ли, судя по тому, как он вел себя с другими. Замечал ли он это за мной, мне тоже было неизвестно, но что-то мне подсказывало, что да. Оттого что я никогда не открывал карты, а всегда все продумывал и просчитывал, я часто выглядел фальшивым и неискренним. Меня такие вещи уже перестали волновать, став частью моей жизни, но вот сейчас, в начале долгой поездки, после папиной смерти и всего сопутствующего страшно хотелось уйти от самого себя или от того в себе, что держало меня под таким пристальным надзором.

Достала меня эта хрень, черт бы ее побрал!

Я оторвался от спинки и стал перебирать сложенные диски: *Massive Attack, Portishead, Blur, Leftfield*, Боуи, *Supergrass, Mercury Rev, Queen*.

*Queen?*

Ингве полюбил их с детства и сохранил эту любовь на всю жизнь, всегда был готов встать на их защиту. Я помню, как он у себя в комнате копировал одно соло Брайана Мэя нота в ноту на своей новой гитаре, черной копии «Лес Пола», купленной на деньги, подаренные к конфирмации, и карточку члена фан-клуба группы *Queen*, которая тогда пришла ему по почте. Ингве до

сих пор ждал, когда мир образумится и группа *Queen* получит заслуженное признание.

Я улыбнулся.

Когда умер Фредди Меркьюри, моим самым большим потрясением стало не то, что он, оказывается, был гомосексуалом, а то, что он был индийцем.

Ну кто бы мог подумать?

Жилая застройка за окном становилась заметно плотнее. Движение на встречной полосе одно время сделалось оживленнее, поскольку близился час пик, но потом, когда мы выехали в безлюдные места между двумя городами, машин опять поубавилось. Мы проехали несколько широких желтеющих хлебных полей, несколько клубничных, несколько зеленых пастбищ, несколько свежевспаханных участков с темно-коричневой, почти черной землей. В промежутках мелькали рощи, поселки, встречались речки, озера. Затем характер ландшафта изменился и стал похож на высокогорный — зеленые, безлесные, неводеланные пространства. Ингве остановился у автозаправочной станции, наполнил бак, заглянул ко мне в окно и спросил, не надо ли мне чего, я отрицательно покачал головой, но он, вернувшись, все-таки сунул мне бутылку колы и батончик «Баунти».

— Перекурим? — спросил он.

Я кивнул и вылез из машины. Мы направились к скамейке в конце площадки. За нею протекал небольшой ручеек, который уходил под мост, видневшийся впереди на дороге. Мимо промчался мотоцикл, за ним трейлер, за ним еще один.

— А что сказала мама? — спросил я.

— Ничего особенного. Ей ведь нужно время, чтобы все обдумать. Но она огорчилась. Наверное, в основном из-за нас.

— Сегодня ведь как раз должны хоронить Боргхиль.

— Да, — сказал Ингве.

К заправке с запада подъехал трейлер, со вздохом припарковался с другой стороны, из кабины выскочил пожилой мужчина и, приглаживая на ходу растрепавшиеся от ветра волосы, пошел к дверям.

— В последний раз, когда я видел папу, он подумывал, не пойти ли в водители грузовика, — сказал я, улыбаясь.

— Да что ты, — удивился Ингве. — И когда же это было?

— Прошлой зимой, полтора года назад. Когда я засел в Кристиансанне писать роман.

Я снял с бутылки крышку и сделал глоток.

— А ты когда его видел в последний раз? — спросил я, вытирая губы рукой.

Ингве сидел, устремив взгляд на пустошь за шоссе, он затаился несколько раз быстро догоравшей сигаретой.

— Кажется, на конфирмации Эгиля. В мае прошлого года. Ты же тоже там был?

— Черт! И правда! — сказал я. — Так это был последний раз. Или нет? — Я вдруг почувствовал неуверенность.

Ингве убрал ногу со скамейки, завинтил бутылку и пошел к машине; из дверей заправочной станции в это время с газетой под мышкой и хот-догом в руке вышел водитель грузовика. Я кинул недокуренную сигарету на асфальт и двинулся следом за братом. Когда я подошел к машине, мотор уже работал.

— Ну вот, — сказал Ингве. — Осталось еще часа два. По-едим, как приедем, согласен?

— Да, — сказал я.

— Что будем слушать?

Подъехав к трассе, он остановился, несколько раз посмотрел по сторонам, затем выехал на дорогу и увеличил скорость.

— Все равно. Так что выбирай сам.

Он выбрал *Supergrass*. Их диск я купил в Барселоне, куда ездил с Тоньей на семинар по местному радиовещанию в Европе, и, послушав эту группу живую, я ставил его, чередуя с несколькими другими, все время, пока писал роман. Внезапно меня охватило настроение того года. Оказывается, оно уже превратилось в воспоминание, подумал я удивленно. Стало временем, когда я сидел в Волде и писал сутками напролет, переложив все житейские заботы на Тонью.

«Чтобы это было в первый и последний раз», — сказала она потом в наш первый вечер на новой квартире в Бергене,

откуда мы на другой день собирались отправиться в отпуск в Турцию. — Иначе я от тебя уйду».

— А ведь я видел его еще после того раза, — сказал Ингве. — Летом прошлого года, когда я был в Кристиансанне с Бендиком и Атле. Он сидел на скамейке перед киоском, — ну, знаешь, возле Рюндинга, а мы как раз проезжали мимо. «Шельмоватый он у вас, как погляжу», — сказал Бендик, когда его увидел. И был вообще-то прав.

— Бедный папа, — сказал я.

Ингве посмотрел на меня.

— Вот уж кого бы жалеть, но только не его, — сказал он.

— Знаю. Но ты же понимаешь, о чем я.

Он не ответил. Молчание, которое в первые секунды было натянутым, стало спокойным. Я смотрел на придорожный пейзаж: в этой открытой всем ветрам местности природа была скудной, сказывалась близость моря. Разбросанные там и сям строения: то одинокий крашенный суриком сарай, то беленый жилой дом, то среди поля трактор с прицепным комбайном. Старая машина без колес, стоящая на дворе, желтый мяч, занесенный ветром в кусты, пасущиеся на откосе овцы, поезд, медленно проезжающий по насыпи метрах в ста от шоссе.

Что отношения с отцом у нас складывались по-разному, я догадывался давно. Различия были невелики, но, пожалуй, знаменательны. Откуда я это знал? Одно время папа сблизился со мной, я хорошо помню, это было в год, когда мама училась в Осло на курсах повышения квалификации и проходила практику в Модуме, а мы с отцом остались дома вдвоем. Казалось, он потерял надежду добиться чего-то с Ингве, которому уже исполнилось четырнадцать лет, но со мной еще на что-то рассчитывал. Во всяком случае, я должен был каждый день сидеть с ним на кухне, чтобы составить ему компанию, пока он готовил обед. Я сидел на стуле, а он стоял у плиты, жарил что-то и расспрашивал меня о разных вещах. За что меня похвалила учительница, что мы проходили на уроке английского, что я собираюсь делать после обеда, знаю ли я, какие английские команды

играют в субботнем матче. Я отвечал односложно и только ерзал на стуле. В ту же зиму он ходил со мной кататься на лыжах. Ингве мог делать, что ему заблагорассудится, от него требовалось только сказать, куда он идет, и возвращаться домой в половине десятого. Помнится, я ему завидовал. Это продолжалось дольше чем год, пока мама отсутствовала, потому что и на следующую осень папа с утра брал меня с собой на рыбалку, мы вставали в шесть, за окном было темно, как в колодце, и страшно холодно, особенно в море. Я мерз и думал только, как бы поскорей вернуться домой, но тут командовал папа, он был главный, с ним бесполезно было спорить, и никакое нытье на него не действовало, так что приходилось терпеть. Через два часа мы возвращались домой, как раз вовремя, чтобы я успел на школьный автобус. Я ненавидел эти рыбалки, на море всегда было зверски холодно, я промерзал до костей, а ведь это мне приходилось вытаскивать кухтыли и вытягивать сети, папа управлял лодкой, а если мне не удавалось достать кухтыль, он ругал меня, так что там в Трумёйе скорее было правилом, чем исключением, когда я в осенней тьме со слезами пытался поймать болтающийся в воде чертов кухтыль, а папа подгрребал то вперед, то назад, сверкая на меня бешеными глазами. Но я знаю, что он делал это ради меня и никогда не делал того же для Ингве.

С другой стороны, я знаю, что первые четыре года, когда родился Ингве и они жили в Осло на Тересесгате и папа учился в университете, подрабатывая ночным сторожем, мама — в медицинском училище на медсестру, а Ингве ходил в детский сад, были самыми лучшими в их жизни — и даже счастливыми. Папа был тогда веселый, и Ингве тоже жилось весело. Когда родился я, мы переехали на Трумёйю, поселившись сначала в Хове, в старом доме, построенном когда-то для военных, который стоял среди леса на самом берегу моря, а затем в поселке на Тюбаккене. Единственное, что мне рассказывали из того времени, — это случай, когда я упал с лестницы и у меня начался приступ астмы, я потерял сознание, и мама побежала со мной на руках к соседям звонить в больницу, потому что лицо у меня совсем посинело, и еще один — когда я так разорался, что отец

в конце концов посадил меня в ванну и стал поливать из душа холодной водой, чтобы остановить этот крик. Про этот эпизод мне рассказала мама, она застала нас тогда в ванной и предъявила отцу ультиматум: если такое повторится еще раз, она от него уйдет. Такого не повторилось, и она не ушла.

Хотя папа и пытался сблизиться со мной, это не значило, что он меня не бил и не орал на меня в бешеной ярости или не изобретал для меня самые изощренные меры наказания; в результате у меня его образ сложился не таким однозначным, каким, по-видимому, у Ингве. Ингве ненавидел его сильнее, у него с этим обстояло проще. Какими были их отношения в остальном, я не знаю. Мысль о том, что и у меня со временем появятся дети, вызывала у меня душевную тревогу, а когда Ингве сообщил, что Кари Анна беременна, невозможно было не задаться вопросом, какой из него получится отец, сидит ли папино наследие у нас в крови или от него можно избавиться, причем без особых затруднений. Ингве стал для меня чем-то вроде пробного камня: если у него все пойдет хорошо, значит, получится и у меня. Все обошлось, и ничего папиного в Ингве не проявилось, у него все складывалось совершенно иначе, и дети стали органичной частью его жизни. Он никогда не отталкивал их, всегда находил для них время — когда это требовалось или когда они сами к нему приходили, — но и не навязывал им близости, чтобы восполнить нечто в себе или в своей жизни. Брат легко управлялся с Ильвой, когда она, например, начинала брыкаться, поднимала крик и отказывалась одеваться. Полгода он провел в отпуске по уходу за ребенком, и близость, которая тогда установилась между ними, сохранилась и в дальнейшем. Других примеров для сравнения, кроме папы и Ингве, у меня не было.

Ландшафт вокруг снова переменялся. Теперь мы ехали через лесистую местность. Через сёрланнские леса, где лишь изредка среди деревьев попадались торчащие скалы, а в основном — то холмы, поросшие елками и дубами, осинами и березами, то темнели болота, то внезапно возникали луга или пески, поросшие сосняком. В детстве я часто представлял себе, как море наступает, заливая леса и холмы превращаются в острова, между

которыми можно кататься на лодке и купаться. Из всех детских фантазий самой увлекательной была картина, как все уходит под воду, мысль о том, что там, где мы сейчас ходим, тогда можно будет плавать, — плавать над навесом автобусной остановки, над крышами домов, а нырнув, заплывать в дома, на лестницу, в какую-нибудь комнату. Или просто плавать по лесу, между крутых и пологих склонов, каменных осыпей и высоких деревьев. В какой-то период детства мы обожали строить запруды на ручье, чтобы поднимавшаяся вода затапливала мох, корни, траву, камни, утопанную тропинку сбоку от ручья. В этом было что-то гипнотическое. Как лед зимой, когда мы катались на коньках по ручью, а под ногами у нас виднелась трава, какие-то палочки, сухие веточки и мелкие растения, вмёрзшие в прозрачный лед.

В чем заключалась притягательность этого зрелища? И куда она пропала?

Еще я любил воображать, как у машины вырастают по бокам две огромных пилы, которые перерезают все, что попадается навстречу. Не только деревья и фонарные столбы, дома и сараи, но также людей и животных. Если кто-то ждет на остановке автобуса, пила срезает его поперек живота, и верхняя часть туловища отваливается, как у спиленного дерева, а нижняя половина продолжает стоять на ногах, и из перепиленной середины на снег вытекает кровь.

Это чувство я помню как сейчас.

— Вон Сёгне, — сказал Ингве. — Я про него только слышал, но ни разу не бывал. А ты?

Я покачал головой:

— Там жили некоторые девочки из моего класса в гимназии. Но я туда не ездил.

Оставались последние мили пути.

Вскоре очертания местности начали совпадать с теми, что хранились в моей памяти, и стали узнаваемыми. Знакомых картин становилось все больше и больше, пока наконец то, что я видел в окно, не слилось окончательно с теми образами, которые отложились у меня в памяти. Ощущение было такое, как будто мы въехали в страну воспоминаний. Что все, мимо чего



мы проезжаем, — это всего лишь декорация, в которой прошло наше детство. Вот мы въезжаем в Вогсбюгд, где жила Ханна, вот грязным пятном темнеет никелеобогатительный завод Хеннига Олсена, «Фолконбридж», окруженный мертвыми горами, а вот, справа, порт Кристиансанна, с автовокзалом, паромным терминалом, вот «Каледония» и элеваторы на острове Оддерёйя. Слева — район, в котором до недавнего времени жил папин дядя, пока старческое слабоумие не вынудило его переехать в дом престарелых.

— Перекусим сначала? — спросил Ингве. — Или сразу в похоронное бюро?

— Давай лучше сразу, — сказал я. — Ты знаешь, где оно находится?

— Где-то на Эльвегатен.

— Значит, надо искать с начала улицы. Ты знаешь, откуда на нее можно заехать?

— Нет. Но это ничего, как подъедем — увидим.

У перекрестка мы остановились на красный свет. Ингве сидел, подавшись вперед, и вглядывался в обе стороны. Красный свет сменился зеленым, он тронулся и медленно поехал, пристроившись в хвост маленькому грузовичку с кузовом, накрытым грязным серым брезентом. Ингве то и дело оглядывался по сторонам, грузовик прибавил скорость, и Ингве, обнаружив увеличившуюся дистанцию, выпрямился и тоже поехал быстрее.

— Они вон там, мы их проехали, — кивнул он направо. — Теперь нам придется в туннель.

— Ну и ничего! — сказал я. — Просто подъедем к ним с другой стороны.

Оказалось, очень даже чего. Когда мы выехали из туннеля на мост, справа появился дом, где я жил, когда учился в гимназии; проезжая, я увидел его из окна, а неподалеку от него на другом берегу стоял невидимый с дороги бабушкин дом, в котором накануне умер папа.

Папа все еще был тут, в этом городе, где-то в каком-то подвале лежало его тело, оставленное на попечение чужих людей, в то время как мы тут едем в машине, направляясь в похоронное

бюро. На этих улицах, по которым мы сейчас проезжаем, он вырос, и ходил по ним еще совсем недавно, всего несколько дней назад. Одновременно во мне всколыхнулись собственные воспоминания, потому что вон там стояла моя гимназия, там — застроенный вилами район, через который я проходил каждый день утром и после занятий, до боли влюбленный, там был дом, где я провел так много одиноких часов.

Я заплакал, но без надрыва, просто по щекам скатилось несколько слезинок. Ингве даже ничего не заметил, пока не взглянул на меня. Я только махнул рукой, и был рад, что голос у меня не дрожал:

— Вон там сверни налево.

Мы проехали в направлении Торридалсвейен, мимо двух спортивных площадок, где я так упорно тренировался со взрослой группой в ту зиму, когда мне исполнилось шестнадцать, потом мимо Хьёйты до перекрестка с Эстервейен, затем выехали по ней на мост, а за ним снова свернули направо на Эльвегатен.

— Какой там номер дома? — спросил я.

Следя за номерами домов, Ингве медленно ехал по улице.

— Он вон там, — сказал он. — Теперь найти бы место для парковки.

На деревянном здании слева висела вывеска с золотыми буквами. Это похоронное бюро посоветовал брату Гуннар. Его услугами они пользовались, когда умер дедушка, и, думаю, наша семья всегда имела дело с этой конторой. Сам я тогда был в Африке, мы с Тоньей ездили туда к ее матери и должны были пробыть в гостях у нее и ее мужа два месяца; сообщение о смерти бабушки мы получили уже после его похорон. Оповестить меня взялся тогда папа. И не оповестил. Но на похоронах сказал, что говорил со мной и будто бы я сказал ему, что не могу приехать. Я жалел, что не попал на бабушкины похороны. Пospеть к ним было хотя и трудно, но все же возможно, да если бы и не получилось приехать, я предпочел бы узнать о бабушкиной смерти сразу, а не три недели спустя, когда он уже лежал в земле. Я был в ярости. Но что я мог поделать?